
Человек приближается к смерти,
Немее, стареет,
Ждёт письма в допотопном конверте,
Ноги в валенках греет,
Бережёт уходящие силы,
Листает тетрадки,
Посещает родные могилы,
Кривые оградки.
Человек приближается к смерти,
Светлеет, ветшает,
Ждёт письмо в допотопном конверте,
Варенье вкушает.
Он выходит во двор, он пшено
Голубям рассыпает.

Возвращается, смотрит в окно,
У окна засыпает.
Жизнь прошла, как война,
Торопливым словечком расхожим.
Он сидит у окна,
Непонятно, живой ли, проходим.
То ли дышит, а то ли не дышит,
Но в губах застревает:
«Это ветер ракиты колышит,
Это бор запеваает...»
Всё он шепчет своё потайное
И чужое родное,
Всё он помнит от времени Ноя,
Как своё нутряное.
Всё он пишет, стирает и пишет,
Но и справа, и слева
Неумолчное пение слышит —
Богородице Дево...

Я ехал в Тюхтово. Молога
Ещё не встала, но в тени
Ледок прибрежный славил Бога,
Змеились мелкие лыжни.

Родня поленницы сложила,
Не собиралась на покой,
Жила, ругалась, не тужила,
К зиме готовилась тверской.

Она видала дни и виды:
Менялись время и вожди...
И шевелились в ней обиды
Осколком в раненой груди.

Не на колхозное начальство,
Не на больницу и собес,
А друг на друга в одночасье,
Хоть из жилья подайся в лес.

И уставая понемногу
От новых сплетен и обид,
Я ехал утром на Мологу —
Проверить, как река стоит.

Чуть холодало. Путь знакомый
Через Язвиху напрямки
Вёл мимо Фросинога дома
На берег стынувшей реки.

Я не был толком с ней знакомым,
Ну, заезжали раз с пяток:
Она была обычно дома,
Верблюжьи валенки, платок,

Кровать стальная, стол, три стула,
Сестрой расписанный голбец,
Скрипела дверь, из окон дуло,
На стенке — мать и отец.

Всё как в любой избе в округе,
Где старость гукает одна,
И мрут последние подруги,
И вечно дует из окна,

Цветной «Рекорд» и круподёрка,
Под рушником — кирпич ржаной,
А занавески и скатёрка
Блестят синюшной белизной.

Я в дом вошёл. Она лежала
И грела руки на груди.
Простыла печь. Окно дрожало.
Сказала: «Здравствуй, заходи.

Пришёл, мой свет, а я молилась,
Чтоб не одной в последний час».
А за окном пурга клубилась.
Сказал: «Я чай налью сейчас». —

«Налей, налей, я тоже выпью,
Вот, значит, выпью и помру».
В окне пурга кричала выпью,
И что-то ухало в бору.

«Семь зим уже, как деда нету,
Пропал, ни вести, ни креста,
А без него не видно свету,
Изба осевшая пуста.

Уж как ломался старый в лесе!
Весной — по щиколтки вода,
А при своём при интересе,
Поди, и не был никогда...

Его пилила я, пилила
Из года в год. И в том году...
Его любила я, любила,
К нему я, Господи, иду».

И от себя, не по Псалтири,
Когда пошла уже тряса,
«Живите в мире, в мире, в мире...» —
Она шептала до конца.

Я веки ей закрыл и вышел
В глухую ночь. Пурга прошла.
В снегу светились ветви вишен,
И над избой луна взошла.

Я ехал. Стучало в шарнире,
Стояла в горле сипотца;
И всё шептал: «Живите в мире,
Живите в мире до конца».

Я обрезал зимой сады
В предгорьях Южного Урала,
Чтобы бригада до звезды
Плоды земные собирала,

Чтоб хрустким яблоком большим
Велась осенняя затарка,
Ведь ждали яблока Ишим,
Надым, Челябинск и Игарка.

Но ярче праведных трудов
Запомнил узкую тропу я
Меж грязных фур и поездов,
Где встретил девушку слепую.

Она брела вдали села,
Прикрыв незрячие зеницы,
И что-то длинное плела,
Закинув голову, как птица.

Я знал, что девушка больна,
Умом светла, здоровьем шатка,
Она жила в селе одна,
Как схоронили мать и бабу.

И что-то слышное едва
Всё время пела, напевала,
Но отдалённые слова
Моя душа не узнавала.

А в этот раз стояла тишь.
Взошла звезда, и месяц вышел,
И что-то торкнуло: «Расслышь».
Я шаг замедлил и расслышал:

«Един вся веси, — голос креп. —
Вся можеши, чтоб всем спастися».
Я нёс бригаде свежий хлеб,
Чтоб на неделю запастися.

«Даждь ми любити всяк жука,
Букашку всяк и тварь с рогами», —
Я слышал речь издалека,
Девичий голос над снегами.

«И даждь ми путь мой обрести,
Узреть незрячими очами».
Я молвил: «Господи прости,
Спаси с другими сволочами».

В ту зиму были холода.
Мы грелись водкой и печами.
И стыла в термосе вода,
С собою взятая для чая.

А на исходе февраля
Был повод в пятницу напиться:
Взяла уральская земля
Соседку: девушку-слепицу.

В то лето яблоки росли,
Как кавуны, в садах охранных,
И гнулись ветви до земли
У жигулёвских и шафранных.

А у садов и ближних сёл
Я слышал пенье.
А в октябре я в храм вошёл
Принять Крещение.

На берегу, где лес свели
И брёвна сплавили плотами,
Цветы на вырубках цвели
И пахло дикими котами.

Гудел буксир издалека,
Был день назавтра нерабочий,
И два приплывших рыбака
Костёр раскладывали к ночи.

Темнела Мишина Гора,
И мошкара столбом держалась,
И гулко эхо топора
От края леса отражалось.

А чуть поближе к огоньку,
Где на сосне висело било,
Как кочки с клюквою, во мху
Темнели старые могилы.

Тут вовсе не было крестов,
Но был пяток ржавелых траков,
Как рыжий выводок птенцов,
Среди щепы и буераков.

Росла черника посреди,
И вдруг, негромко, за спиною
Услышал я: «Не уходи» —
Над тишиной и бузиною.

На вёрсты не было жилья,
Кусты и гарь лесоповала.
...Так говорила мать моя,
Когда лежала умирала.

...Христе, Спаситель, Боже наш!
Хранитель сырых и скорбящих!
Ты сам, что можешь, то подашь,
Попомни о лежащих в чаще.

Ты милосердный Отче чад,
Вельми повинны наши выи!
Пусть изгубленные молчат,
А говорят за них живые.

...И слов не в силах обрести,
Я вышел к берегу пустому,
Мне было два часа идти
Вниз по реке к жилью людскому.

А за вспотевшею спиной
Сквозь березняк и ельник гиблый
Пластался голос надо мной:
«Не уходи» — глухой и хриплый.

Он видел мир — обычно сверху,
И, уместившись в ендове,
Напоминал большого стерха
Седым пером на голове.

И, хлеб жуя неторопливо,
Душой — оторван от Земли,
Он наблюдал, как зрели сливы
И медленно леса росли.

Садилось солнце за Ольховку,
И полусытый вышиной,
Он отцеплял свою страховку
И опускался в мир земной.

Тут было всё ему знакомо,
И все немножечко ку-ку,
Как на правлении домкома,
Не так, как дома — наверху.

И как-то раз под вечер летний,
Когда сверкало вдалеке,
Он вбил в стропило гвоздь последний
И свесил ноги на коньке.

Сложил подсумки и верёвки,
Взглянул на пятничный удел
И на глазах у всей Ольховки,
Себе не веря, полетел.

Через ручей и суховерхи,
Зачем-то с фомкою в руках
Туда, где голуби и стерхи
И старики на облаках.

Из всех допотопных событий,
Отсеяв давно мишуру
Бараков и соцобщезитий,
Я помню Былову Гору.

В деревне за летней Кабожей,
Где прятался я от властей,
Жил дядька с экземой на коже
И болезтью ломких костей.

Он был нелюдим и обычно,
Пробуркав: «Желаю и вам»,
В свой мир погружался привычно,
Где не было места словам.

Живя в невербальном общенье
С деревней, любившей взболтнуть,
Он был, как немое растение,
Что мне не мешало ничуть.

То в лесе, а то в огороде,
С утра покидая жильё,
Он был сопричастен природе
Как некая сущность её.

Мы рядом сидели порою,
И плыл над неспешной рекой,
Мостком и Быловой Горой
Высокий и древний покой.

Случалось, округа вращалась,
А небо вмещалось в реке;
Тому, что в душе ощущалось,
Названия нет в языке.

И все словеса и словечки
От вечера и до утра
Смолкали у меленькой речки
В деревне Былова Гора.

Да, где та обитель, сказитель?
...Лишь вспомнишь порой впопыхах,
Как мой деревенский учитель
Вертел камышинку в руках.

Старик, продающий арбузы,
С привязанной рядом козой —
Свободен от лишнего груза:
Кредитов, жены молодой.

Цигарку о пень пригашая,
Не думает, жить бы с чего:
У трассы бахча небольшая
И кормит и поит его.

В уделе букашек и пташек
Солому под чайником жжёт,
Он тут и построил шалашик —
Живёт и бахчу стережёт.

И пахнет землёй и листвою,
И козьим парным молоком,
Назёмом, сухою травой,
Арбузом, донским табаком.

Он жить не желает иначе,
Он вольный казак на Дону!
Супруга уехала в Качу,
А он — не согласный в плену.

А в Каче — искать работёнку,
Не дочкины хавать харчи,
А тут и бахча, и хатёнка,
И жизни такой поищи.

Тебе ни семьи, ни обузы!
Свобода, да Богу хвала.
...И кучей большие арбузы,
Как ядра, лежат у жерла.

В тайге, на брошенной заимке,
Схороненной за перевал,
Старик, бежавший от поимки,
Четыре года бедовал.

Он с председателем колхоза
Схлестнулся в кровь из-за земли
И по январскому морозу
Утёк, пока не замели.

И дабы избежать поимки
И справедливого суда,
Осел на брошенной заимке
Обрег овечьего пруда.

Январь был лют. Крупы остаток
На балке был подвешен, и
Он справил с ним восьмой десяток
Вдали от дочкиной семьи.

Потом и снасть наладил неку —
Пугай рекою рыбака!
А воду — натопил из снега,
Чтоб не носить издалека.

Потом — грибы и гонобобель,
И огородик у пруда:
Всего у старца стало вдоволь,
Тайга прокормит завсегда.

Житьё по нраву и по чину,
И вовсе не о чем роптать...
А вечерами — жёг лучину,
Хоть было нечего читать.

И, с тишиной не правя битву,
Порой плюясь через плечо,
Он вспомнил старую молитву,
Из детства, дедову ещё:

«О, Мати Господа, — шептал он, —
Еси ты корень чистоты».
И на снегу, под вечер — алом,
Росли морозные цветы.

«Ты помози, ты не поберегуй», —
Он эти повторял слова,
А лес молчал. И по-над берегом
Летала серая сова.

...Что было надо им в избушке,
Где ни богатства, ни ружья,
Ни медной за полой полушки,
Ни шкурки мелкого зверья?

Трём этим юношам поддатым,
В тайгу зашедшим за сохатым?
В заимку — за чужим добром?
Рубившим деда топором?

...Он утром встал. Текло из глаза.
На месте уха был провал.
Дошёл, шатаясь, до лабаза,
Открыл: чтоб харч не пропадал.

Вернулся в сруб и лёг на нары,
Перекрестился, как пришлось,
Подумал: «А ещё не старый».
И следом — сердце отнялось.

Но не погиб. Во мраке комы,
Как под лавиною, в снегу,
Он зрел Владычицу, с иконы
К нему сошедшую в тайгу.

Сквозь морок болести и боли,
Как прежде — с мукой у креста,
Она ему щепотку соли
Вложила в синие уста.

...Мы с ним сидели на крылечке,
Был деду сто один годок.
Внизу блестел таёжной речки
Пешнёй не тронутый ледок,

Тетеревов взлетела стая,
И замерла опять тайга.
Он говорил: «Молитвы знаю,
Но больше — эта дорога».

Квадрат каштанового снимка:
Кусты смородины окрест.
Три кедра. Старая заимка.
У камня крест.